

К 100-ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА СОЛЖЕНИЦЫНА

В.Т. Олейник

ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА «АРХИПЕЛАГА ГУЛАГа»

Аннотация. В статье анализируются жанровые особенности весьма сложного в данном отношении произведения А.И. Солженицына, который сам именовал «Архипелаг ГУЛАГ» «опытом художественного исследования». Такого определения в современной жанровой классификации явным образом не имеется. Что имел в виду писатель? Скорее всего, этим определением он подчеркнул тот факт, что «Архипелаг» – произведение, которое находится на стыке реальной документалистики, историографии и публицистики, сплавленных воедино, однако художественным, т.е. беллетристическим началом. А посему художественная, причем со всей очевидностью – именно романическая – составляющая произведения должна считаться доминирующей.

Таким образом, имеются веские основания полагать, что речь идет об уникальном, в высшей степени *экспериментальном* русском романе последней четверти XX в. И дело, разумеется, не в самом термине, не в игре слов и определений. Просто взяв в руки тяжелый том «Архипелага ГУЛАГа», мы должны будем раньше или позже догадаться, что держим нечто очень похожее на литературный «блокбастер» – полноразмерный, эпохальный роман, и что большая часть критериев и оценок, применявшихся к нему в течение почти полувека в нашей критике как к сочинению собственно документального характера, абсолютно неверна. В частности, в романе нет и быть не может фактических ошибок и фактографических неточностей, так как на научную истинность романы, даже романы, имеющие серьезную документальную основу, никогда не претендуют.

Ключевые слова: роман; автобиографический роман; роман-исповедь; философский роман; документальная проза; политический памфлет; интертекстуальный анализ; большевизм; культ личности; марксизм.

Oleynik V.T. «Archipelag GULAG» as a generic experiment

Summary. The article deals with the problem of genre specifications of this world-famous book, which is usually evaluated as a classic non-fiction. This point of view, however, seriously underestimates the purely fictional quality of the text: its intricate composition, its very rich imagery and the power of its emotional impact on readers. Besides non-fictional approach permits politically engaged critics to search for factual inaccuracies or even «errors» and «mistakes» in the text which is principally fictional – an experimental novel fundamentally based on real documents.

Keywords: novel; autobiographical novel; confessions; philosophical novel; documentary prose; political pamphlet; intertextual analysis; bolshevism; cult of the leader; marxism.

В критике, посвященной «Архипелагу ГУЛАГа», еще не устоялось сколь-либо определенного суждения насчет его жанровой природы. В данном факте нет ничего удивительного. Это произведение чрезвычайно своеобразно. Оно ни на что не похоже в истории русской литературы. Оно существует как бы само по себе, в единственном экземпляре, и при этом мало отвечает распространенным ныне представлениям о беллетристике как таковой, а тем более – жанровым ожиданиям, сложившимся в современной художественной литературе и в наших головах.

В связи с этим многие историки литературы склонны относить «Архипелаг ГУЛАГ» к разделу документалистики. Как правило, впрочем, уточняя, что эта документалистика является сугубо писательской, т.е. созданной опытной рукой большого мастера художественного слова. Так, в краткой аннотации, сопровождающей выходные данные в однотомнике, выпущенном в 2017 г. издательством «Альфа-книга», указано: «В одном томе собрана вся всемирно известная **документально-художественная эпопея** (курсив мой. – В. О.) о репрессиях, проводимых в годы советской власти, жертвой которых стал и сам автор»¹.

В принципе документальный подход к «Архипелагу ГУЛАГа» вполне допустим. В произведении действительно много цитат, библиографических ссылок и сносок, обычно не свойственных беллетристике. Автор, безусловно, стремился к фактографической точности и достоверности изображаемых им событий и обсуждаемых проблем. Тем не менее это не означает, что текст «Архипелага ГУЛАГа» построен по преимуществу на логике

рациональных умозаключений. Они лишь придают своеобразие, особый колорит всей удивительной образности романа. В связи с этим собственно документальный подход, недооценивая художественный уровень данного произведения, дал основания целому ряду критиков и историков литературы оценивать его по критериям, к нему абсолютно не применимым. В частности, вся полемика о численности заключенных в тех или иных лагерях, о количестве погибших и интернированных и о тому подобных «отклонениях от истины» никакого филологического, литературного смысла не имеет.

А. Солженицын ориентировался на данные, которые были ему доступны. Он ничего не выдумывал, хотя как художник имел полное право включать воображение, а то и преувеличивать (гиперболизировать) отдельные детали для усиления эффекта. И даже если приводимые им данные несколько расходятся со сведениями, полученными при открытии части архивов, у нас нет и не может быть никаких оснований «обвинять» писателя в подобных «ошибках». Тем более что нет никаких гарантий насчет достоверности и полноты рассекреченных в конце XX в. архивных данных. Зная нравы нашего начальства и свойственные ему замашки, можно почти с полной уверенностью утверждать, что определенной части документов попросту не существовало в природе (не все расстрелы и потопленные баржи с людьми регистрировались), что какая-то часть документов была уже уничтожена, а многие – попросту сфальсифицированы.

Явным образом недооценили художественные достоинства «Архипелага ГУЛАГа» и авторы статьи о творчестве А.И. Солженицына в Википедии. В классификации всех его произведений наряду с повестями, рассказами, пьесами, стихотворениями, мемуарами, эссе и статьями указаны только три романа: «В круге первом» (1955–1958), «Раковый корпус» (1963–1966) и «Красное колесо» (1969–1991). «Архипелагу ГУЛАГу» в этой классификации досталось место в рубрике «Другое» наряду с «Русским словарем языкового расширения» (1990–2000) и монографией «Двести лет вместе» (2001–2002).

Это, конечно, абсурд. «Архипелаг ГУЛАГ» – великий русский роман, шедевр А. Солженицына. С ним писатель и вошел в историю мировой литературы. Причем значение творчества этого

русского художника слова отнюдь не ограничивается политической остротой и актуальностью его разоблачений подлинного отношения всемогущего государственного аппарата СССР к населению собственной страны.

Текст романа при первом знакомстве производит впечатление разнородной пестроты и даже эклектики, несколько напоминающая сшитое из разных кусочков деревенское одеяло. Но это впечатление обманчиво. При удалении на нужное расстояние все эти вставки теряют четкие контуры и сливаются в монолит единого повествования, подобно крупным мазкам на больших художественных полотнах. Это происходит потому, что в этих отступлениях и вставках нет ничего случайного или произвольного. Каждая из них необходима и находится строго на своем месте. Как щебень в цементе, приготовляемом для несущих конструкций, они лишь укрепляют общую структуру произведения. Попробуем выделить основные из этих несущих опор, которые обеспечивают художественное единство текста «Архипелага ГУЛАГа».

Во-первых, в романе отчетливо проступает историографическое или летописное начало. Писатель во что бы то ни стало стремился удержать в человеческой памяти, увековечить хотя бы часть того, что происходило на Архипелаге до него и во время его собственного пребывания там: «Идут десятилетия – и безвозвратно слизывают рубцы и язвы прошлого»². При этом он ни в коем случае не претендует на полноту и точность собранной им информации: «Я не дерзну писать историю Архипелага: мне не досталось читать документов»³. И тем не менее, подобно древнему летописцу, он ощущает себя обязанным рассказать все, что ему известно, ибо он не уверен, что «кому-нибудь когда-нибудь» доведется читать эти документы: «Свои одиннадцать лет, проведенные там, усвоив не как позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир, а теперь еще, по счастливому обороту став доверенным многих поздних рассказов и писем, – может быть, сумею я донести что-нибудь из косточек и мяса? – еще, впрочем, живого мяса»⁴.

Уже данное обстоятельство обусловило обилие в тексте романа отступлений исторического характера. Ведя читателей по малоизвестной им территории параллельного мира Архипелага, Солженицын прекрасно понимал, что для несведущих многие

темы, явления, события и реакции «туземцев-зэка» на них будут совершенно неясны без пространных экскурсов в историю того или иного вопроса. Однако существование Архипелага ГУЛАГа не только замалчивалось официальной пропагандой. Оно еще и мифологизировалось абсолютно лживыми рассказами и легендами. Поэтому писателю, повествующему о быте и судьбах жертв Архипелага, заодно приходилось разоблачать все эти подлые выдумки, плотным коконом окутывавшие историю репрессий в СССР. Без пространного цитирования доступных писателю источников справиться с этой задачей было невозможно. Пытаясь доказать, что вся официальная советская версия террора – абсолютно лжива, Солженицын создал очень необычную технику повествования, которая свободно допускает вкрапления практически любого чужого текста и при этом – текста почти любого размера по мере возникающей необходимости, равно как и имевшихся в его распоряжении фотоматериалов. И делается это столь естественно и органично, что роман не рассыпается на куски, а напротив, обретает особую пластичность и совершенно поразительную интеллектуальную глубину.

Наличествуют в «Архипелаге ГУЛАГе» и признаки повествования автобиографического характера, хотя сам писатель предупреждает: «Эта книга не будет воспоминаниями о собственной жизни. Поэтому я не буду рассказывать о забавнейших подробностях моего ни на что не похожего ареста»⁵. Тем не менее он рассказывает об этих подробностях: «В ту ночь смершевцы совсем отчаялись разобраться в карте (они никогда в ней и не разбирались) и с любезностями вручили ее мне и просили говорить шоферу, как ехать в армейскую контрразведку. Себя и их я сам привез в эту тюрьму и в благодарность был тут же посажен не просто в камеру, а в карцер»⁶. Ситуация повторилась и в Москве, в которой спецконвой, нагруженный тяжелыми чемоданами с ворованным немецким барахлом, плохо ориентировался. Солженицын самостоятельно вез их на метро с Белорусской станции до Лубянской своей Голгофы.

По сути, последовательное описание событий из разных периодов и этапов лагерной жизни автора и является тем композиционным стержнем, на который нанизываются весь тематический материал и вся проблематика «Архипелага ГУЛАГа». Роман

открывается арестом автора и заканчивается его ссылкой, освобождением и хлопотами, связанными с реабилитацией. Иное дело, что автобиографическое начало в этом произведении не является доминирующим. «Я» автора не выступает центром собственного мироздания, вокруг которого вращаются события и судьбы всех остальных персонажей. То есть судьбы тех зэка, с которыми автор встречался лично, как и тех, о которых он узнавал из рассказов других заключенных. В качестве персонажа автор представлен как один из великого множества «туземцев», населявших Архипелаг. Он – типичный их представитель, внешне неотличимый от большинства работяг. Он и внутренне, признав целесообразность их этики и основных экзистенциальных понятий, необходимых для выживания в крайне экстремальных условиях лагерей, противостоит всей их массе исключительно в качестве свидетеля и будущего летописца Архипелага, способного потрясти мир рассказом о страданиях и муках, выпавших на долю его обитателей.

«Архипелаг ГУЛАГ», разумеется, не является исповедью. Он не сконцентрирован на внутреннем мире автора или главного героя, на движениях его чувств и мыслей. Однако и это начало, пусть и пунктирно, пронизывает всю ткань произведения. Нечеловеческие условия сталинских лагерей не только калечат тело и душу писателя, они не только обучают его подлой науке выживать любой ценой, но и дают ему прочную моральную опору. Это происходит тогда, когда он осознает и принимает тот факт, что есть «край» – предел, который человек не должен перешагивать, «не выпадая из человечества». Он начисто отвергает уголовную аксиому: «Умри сегодня ты, а завтра – я». И с этого момента начинается путь его духовного просветления и возвышения. Человек имеет право делать все, чтобы выжить, но только не за счет жизни других, ни в чем не повинных людей.

С самого начала романа Солженицын не питал особых иллюзий относительно достоинств и недостатков своей собственной личности. Характеризуя первых своих сокамерников – трех танкистов в черных мягких шлемах, арестованных за то, что в подпитии они вторглись в баньку, где парились две забористые девахи, одна из которых оказалась фронтовой женой начальника контрразведки, он пишет: «Это были три честных, три немудрящих солдатских сердца – род людей, к которым я привязался за

годы войны, *будучи сам и сложнее и хуже*. Все три были офицерами»⁷ (курсив мой). Это, конечно, очень честное и даже смелое заявление. И в русской литературе с ее вековыми традициями покаяния такие утверждения встречаются крайне редко. Однако автор не догадывался, пока сам не прошел все круги ада, насколько он лично был близок к той пропасти, в которую угодили многие его современники: «Но, как советует народная мудрость: говори на волка, говори и по волку. Это волчье племя – откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня? не нашей крови?

Чтобы белыми мантиями праведников не шибко переполакивать, спросим себя каждый: а повернись моя жизнь иначе – палачом таким не стал бы и я?

Это – страшный вопрос, если отвечать на него честно. Думаю, что, если бы во время вербовки в училища НКВД очень крепко нажали, – сломили бы и нас всех (студентов Ростовского университета). И вот я хочу вообразить: если бы к войне я был бы уже с кубарями в голубых петлицах – что б из меня вышло? Можно, конечно, теперь себя обласкивать, что мое ретивое бы не стерпело, я бы там возражал, хлопнул дверью. Но лежа на тюремных нарах, стал я как-то переглядывать свой действительный офицерский путь – и ужаснулся». Он вспомнил, что был несправедливо строг к своим солдатам, что в первую очередь его заботили собственные удобства и безопасность; он требовал укладывать самые толстые бревна на свой блиндаж и считал естественным свое превосходство над рядовыми, поскольку на его погонах красовались капитанские звезды. Вспомнились и многие другие грехи: «Нарастает гордость на сердце, как сало на свинье»⁸.

В результате этих долгих и трудных размышлений Солженицын пришел к крайне неутешительному для себя выводу: «Я приписывал себе бескорыстную самоотверженность. А между тем был – вполне подготовленный палач. И попади я в училище НКВД при Ежове – может быть, у Берии я вырос бы как раз на месте?..

Пусть захлопнет здесь книгу тот читатель, кто ждет, что она будет политическим обличением. Если б это было так просто! – что где-то есть черные люди, злокозненно творящие черные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека...

В течение жизни одного сердца линия эта перемещается на нем, то теснимая радостным злом, то освобождая пространство расцветающему добру. Один и тот же человек бывает в свои разные возрасты, в разных жизненных положениях – совсем разным человеком. То к дьяволу близко. То к святому. А имя – не меняется, и ему мы приписываем все.

Завещал нам Сократ: познай самого себя!

И перед ямой, в которую мы уже собирались толкать наших обидчиков, мы останавливаемся, оторопев: да ведь это только сложилось так, что палачами были не мы, а они.

А кликнул бы Малюта Скуратов *нас* – пожалуй, и мы б не сплошали!»⁹

Солженицын не просто рассказывает читателям о тяготах и лишениях заключенных в лагерях ГУЛАГа. Он в буквальном смысле создает эффект присутствия, погружая тех, кто открыл эту книгу, в тяжелую, смрадную, давящую атмосферу неведомого им мира Архипелага. Это еще одна причина, руководствуясь которой в качестве основной особенности поэтики романа Солженицын избрал фактографическую точность, историческую и бытовую достоверность любого элемента повествования. В «Архипелаге ГУЛАГе» господствует «правда факта». Она превосходит даже «правду жизни», если последняя конфликтует с тем, что уже установлено в качестве достоверных, подтвержденных фактов. «В этой книге нет ни вымышленных лиц, ни вымышленных событий. Люди и места названы их собственными именами. Если названы инициалами, то по соображениям личным. Если не названы вовсе, то лишь потому, что память людская не сохранила имен, ***а все было именно так***»¹⁰ (курсив мой).

«Архипелаг ГУЛАГ», при всей его документальности и публицистичности, несомненно – роман. Экспериментальный русский роман второй половины XX в. Причем его новаторство не обусловлено отнюдь сугубо эстетическими или формальными поисками, а мотивировано экзистенциальными, практическими целями, которые именно временем – его эпохой – были поставлены перед гениальным писателем. Сам А.И. Солженицын, назвав «Архипелаг ГУЛАГ» «опытом художественного исследования» (курсив мой), по всей видимости, хотел подчеркнуть все-таки преобладающую роль не документально-научной, не собственно исторической или

же публицистической, а именно художественно-эстетической доминанты в этом произведении. И пусть нас не особо смущает термин «опыт». Это ведь не только «эксперимент», ставший главным инструментом современного научного познания мира, но и еще, по старинной традиции, – «проба, попытка» от французского слова *l'essai*, вошедшего и в русский язык как «эссе». Вспомним хотя бы эссеистику Монтеня – его прославленные «Опыты».

Еще менее должно нас удивлять употребленное писателем понятие «исследование». По большому счету всякое подлинно художественное сочинение – не что иное, как акт познания. Помимо вечно присущих литературе обязанностей просвещать, наставлять и развлекать, она всенепременно анализирует какие-то прежде неизвестные свойства внутреннего мира человека либо некую часть мира внешнего, окружающей нас реальности. Понятно, что обнаруживаемая в романе «Архипелаг ГУЛАГ» тяга к достоверности повествования, к его документальности обуславливалась отнюдь не только историческими обстоятельствами, но и особенностями писательского дара Солженицына, который, по всей видимости, пристрастия к лихо закрученным искусственным сюжетам не испытывал. Почти наверняка писатель полагал, что сама жизнь – неистощимая выдумщица самых фантастических сюжетов. Надо только пристально всматриваться в ее течение, улавливая и осмысляя по мере возможности ее внутренние взаимосвязи, парадоксы, случайности и завихрения.

Чего-чего, а пристальности взгляда и неистощимого терпения А. Солженицыну было не занимать. Ограниченный несколькими квадратными метрами «жилого пространства» камер, карцера и барачков или же несколькими квадратными сантиметрами в плотном ряду конвоируемых колонн, преодолевая хроническое ощущение голода и физического истощения, механически безучастно принимая участие в монотонном каторжном ручном труде на «стройках социализма», не имея ни малейшей возможности планировать не только собственную жизнь, но и хотя бы единственный день, писатель, четко регистрируя все происходившее вовне, тем не менее был преимущественно погружен в непрестанную работу мысли. Как бы скованный физически, лишенный почти всех житейских обязанностей, за исключением самых насущных, он обрел небывалую внутреннюю свободу. Его мозг все

время был занят осмыслением происходившего, а также переоценкой всей прошлой жизни на воле. Поэтому «Архипелаг ГУЛАГ» не мог не стать романом интеллектуальным и, более того, – романом философским в прямом и полном смысле данного определения.

Очутившись в центре земного ада, Солженицын естественным образом был обречен прежде всего размышлять над проблемой зла. «Как это понять *злодей*? Что это такое? Есть ли это на свете?

Нам бы ближе сказать, что не может их быть, что нет их. Допустимо сказке рисовать злодеев – для детей, для простоты картины. А когда великая мировая литература прошлых веков выдувает и выдувает нам образы густо-черных злодеев – и Шекспир, и Шиллер, и Диккенс, нам это кажется отчасти уже балаганным, неловким для современного понимания. И главное: как нарисованы эти злодеи? Их злодеи отлично сознают себя злодеями и душу свою – черной. Так и рассуждают: не могу жить, если не делаю зла. Дай-ка я натравлю отца на брата! Дай-ка упьюсь страданиями жертвы! Яго отчетливо называет свои цели и побуждения – черными, рожденными ненавистью.

Нет, так не бывает! Чтобы делать зло, человек должен прежде осознать его как добро или как осмысленное закономерное действие. Такова, к счастью, природа человека, что он должен искать *оправдание* своим действиям.

У Макбета слабы были оправдания – и загрызла его совесть. Да и Яго – ягненок. Десятком трупов ограничивались фантазия и душевные силы шекспировских злодеев. Потому что у них не было *идеологии*.

Идеология! – это она дает искомое оправдание злодейству и нужную долгую твердость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и перед другими обелять свои поступки и слышать не укоры, не проклятья, а хвалы и почет. Так инквизиторы укрепляли себя христианством, завоеватели – возвеличиванием родины, колонизаторы – цивилизацией, нацисты – расой, якобинцы и большевики – равенством, братством, счастьем будущих поколений.

Благодаря идеологии досталось XX веку испытать злодейство миллионное. Его не опровергнуть, не обойти, не замолчать – и как же при этом осмелимся мы настаивать, что злодеев – не бывает?

А кто ж эти миллионы уничтожал? А без злодеев Архипелага бы не было»¹¹.

Противоречие? Без всяких сомнений – противоречие, обусловленное массовым заблуждением, свойственным нашей исторической эпохе. Почему злодеи Шекспира, Шиллера, Диккенса нам кажутся излишне нарочитыми и даже «балаганными»? Вовсе не потому, что мы шагнули далеко вперед по сравнению с XVII или XIX веками и стали настолько сложнее, что нас эти «примитивные» образы злодеев, созданные для простоты картины, уже не устраивают. Как раз наоборот. Шекспира, в частности, несколько не интересовали идиоты, творящие зло по глупости, по бесчувственности, по привычке подчиняться приказам, по садистским своим наклонностям, по обычаю поступать как все или же по элементарной трусости. Такие злодеи, не вполне ведающие, что они творят, – явления заурядные, а потому и пошлые в своей заурядности. Шекспира, Шиллера и Диккенса интересовали личности, способные сами генерировать зло, идя как бы против человеческой природы, а вернее – против культуры, стремящейся прививать людям здравомыслие и тягу к человечности. По этой причине злодей-бунтарь должен ясно осознавать, насколько черна его душа. Подобно маньяку злодей-бунтарь не просто противопоставляет себя окружающим людям, он воспринимает их в качестве потенциальных своих жертв. В его сердце практически уже не происходит никакой борьбы добра со злом. Люди, обладающие подобным иммунитетом к добру, и представлялись Шекспиру основным препятствием на пути нравственного прогресса человечества. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Шекспир демонизировал этот тип человеческих существ. Как, впрочем, и Шиллер, и Диккенс.

А. Солженицын злодеев не демонизировал. Исключение он делал только для Сталина. Да и то лишь до начала «культурной революции» в коммунистическом Китае. Но даже в этом случае писатель помимо ужаса и чувства собственной беспомощности ощущал еще и неловкость, которую испытываешь, наблюдая слабую актерскую игру или понимая, что тебе лгут прямо в глаза. В масштабах сталинских злодеяний Солженицын несколько не сомневался. Его смущала бутафорская безвкусица, с которой все эти злодеяния оправдывались и прославлялись. «Высок, просторен, светел, с преобладающим окном был кабинет моего следователя

И.И. Езепова (страховое общество “Россия” строилось не для пыток) – и, используя его пятиметровую высоту, повешен был четырехметровый вертикальный, во весь рост, портрет могущественного Властителя, которому я, песчинка, отдал свою ненависть. Следователь иногда вставал перед ним и театрально клялся: “Мы за него жизнь готовы отдать! Мы – под танки за него готовы лечь!” Перед этим почти алтарным величием портрета казался жалким мой бормот о каком-то очищенном ленинизме, и сам я, кощунственный хулиТЕЛЬ, был достоин только смерти»¹².

Казалось бы, глаза Солженицына не были зашорены. Он ясно видел и понимал, что в СССР под бесконечные мантры о святом равенстве и братстве построено изощренно иерархическое общество, управляемое партийной и силовой номенклатурой. Что власть этой номенклатуры и ее главы – Вождя, Отца народов – абсолютна и непререкаема. Что разница в социальном положении верхов и низов в СССР столь колоссальна, что равной ей не найти на Руси и в самые глухие времена Средневековья, за исключением, возможно, только недолгого периода опричнины. Все время слушая по радио и читая в газетах заявления о том, что Коммунистическая партия и советское правительство сил своих не щадят во имя блага нашего народа, писатель ясно осознавал, что идет глухое истребление миллионов наших соотечественников.

Особенно потрясла Солженицына коллективизация 1929–1930 гг., когда миллионы земледельцев были «раскулачены» и сосланы в гиблые смертные места. «Раздувание хлесткого термина “кулак” шло неукротимо, и к 1930 г. так звали уже вообще всех крепких крестьян – крепких в хозяйстве, крепких в труде и даже просто в своих убеждениях. Кличку “кулак” использовали для того, чтобы размножить в крестьянстве *крепость*. Вспомним, очнемся: лишь двенадцать лет прошло с великого Декрета о земле – того самого, без которого крестьянство не пошло бы за большевиками и Октябрьская революция бы не победила. Земля была роздана по едокам, *равно*. Всего лишь девять лет, как мужики вернулись из Красной Армии и накинудись на свою завоеванную землю. И вдруг – кулаки, бедняки. Откуда это? Иногда – от неравенства инвентаря, иногда – от счастливого или несчастливой состава семьи. Но не больше ли всего – от трудолюбия и упорства? И вот теперь-то этих мужиков, чей хлеб Россия и ела в 1928 г., броси-

лись искоренять свои местные неудачники и приезжие городские люди. Как озверев, потеряв всякое представление о “человечестве”, потеряв людские понятия, набранные за тысячелетия, – лучших хлеборобов стали схватывать вместе с семьями и безо всякого имущества, голыми, выбрасывать в северное безлюдье, в тундру и в тайгу»¹³.

Поначалу писатель был убежден, что это – злодейские происки Сталина, стремившегося истребить в населении всякую крепость, всякую хозяйственную и интеллектуальную самостоятельность как потенциально опасные для его личного всемогущества. В действительности так оно и было. Только Сталин, добываясь абсолютной власти, не особо искажал ленинизм. Лишь слегка его видоизменив и приспособив к востокизированным национальным российским да и грузинским традициям, тиран весьма последовательно реализовывал ленинскую программу. Устанавливая режим неограниченной личной власти, закавказский уголовник шаг за шагом при этом создавал первое в мире тоталитарное государство большевистского, советского (марксистского) типа. Причем он, безусловно, рассчитывал на мировое господство, широко расставляя шпионские сети, разворачивая массированную пропаганду и рассматривая территорию СССР как плацдарм, с которого со временем можно будет начать мировую революцию. Архипелаг ГУЛАГ был всего лишь одним из звеньев этого глобального плана. Но он и оказался самым слабым его звеном. С негодования и возмущения практикой порабощения и истребления пусть и не очень свободных, но, как правило, ни в чем не повинных людей во второй половине XX в. и началась история краха коммунистических режимов и всей марксистской идеологии.

В течение первых лет своего заключения Солженицын в его собственной подаче предстает убежденным марксистом-ленинцем: «Всего три недели пробыл Юрий Евтухович в нашей камере. Все эти три недели мы с ним спорили. Я говорил, что революция наша была великолепна и справедлива, ужасно лишь ее искажение в 1929 г. Он с сожалением смотрел на меня и пожимал нервные губы: прежде чем браться за революцию, надо было вывести в стране клопов! (...) Я говорил, что долгое время только люди высоких намерений и вполне самоотверженные вели советскую страну. Он говорил – одного поля со Сталиным, с самого начала.

(В том, что Сталин – бандит, мы с ним не расходились)... Из-за этих ежедневных споров, запальчивых по нашей молодости, мы с ним не сумели сойтись ближе и разглядеть друг в друге больше, чем отрицали»¹⁴. Ю. Евтухович не переубедил Солженицына, но все же несколько поколебал его пламенную веру. Гораздо более глубокое влияние на русского писателя оказал эстонский политик и государственный деятель Сузи Арно, осужденный за преступное желание добиться самоопределения для своей родины. «С ним я учусь новому для меня свойству: терпеливо и последовательно воспринимать то, что никогда не стояло в моем плане и как будто никакого отношения не имеет к ясно очерченной линии моей жизни. С детства я откуда-то знаю, что моя цель – это история русской революции, а остальное меня совершенно не касается. Для понимания же революции мне давно ничего не нужно, кроме марксизма; все прочее, что липло, я отрубал и отворачивался. А вот свела меня судьба с Сузи, у него была совсем другая область дыхания, теперь он увлеченно рассказывает мне все о своем, а свое у него – это Эстония и демократия. (...) И неизвестно – зачем мне, но все это начинает мне нравиться, все это и в моем опыте начинает откладываться. (Сузи обо мне потом вспомнит так: странная смесь марксиста и демократа. Да, диковато у меня тогда соединялось.)»¹⁵.

А. Солженицын интуитивно, силой догадки пытался постичь закономерности наблюдаемого вокруг кошмара, и надо сказать, что, как правило, он оказывался прозорливее многих маститых академиков общественных наук. Как мы уже отметили, он **первым** в «Архипелаге ГУЛАГ» высказал гипотезу о наличии взаимосвязи между злом в его современных ипостасях и вариантах и **идеологией**. Как идеологией фашизма, так и идеологией марксизма. Ибо только массовая идеология ненависти (ненависти национальной или расовой в случае с фашизмом и ненависти классовой, социальной у марксистов) способна порождать многомиллионные толпы зомбированных фанатиков, вызывая массовое оглупление и озверение людей, из которых без проблем набираются целые армии исполнителей-палачей для любых подлых дел.

Сопоставляя отдельные известные ему факты, «пламенный ровесник Октября» был вынужден признать, что установление советской власти в стране привело к нравственной порче населения. «Этот вовсе секретный, никак публично не проявленный поток

(несостоявшихся осведомителей) мы просили бы читателя все время удерживать в памяти – особенно для первого послереволюционного десятилетия: тогда люди еще бывали горды, у многих еще не было понятия, что нравственность – относительна, имеет лишь узкоклассовый смысл, – и люди смели отказываться от предлагаемой им службы, и всех их карали без пощады. (...)

В 30-е годы этот поток непокорных сходит к нулю: раз требуют осведомлять, значит, надо – куда ж денешься? “Плетью обуха не перешибешь”. “Не я – так другой”. “Лучше буду сексотом я, хороший, чем другой, плохой”. Впрочем, тут уже добровольцы прут в сексоты, не отобьешься: и выгодно, и доблестно»¹⁶.

Из той же оперы и упоминание о старинном обычае праздничных передач арестантам. В XIX в. русские люди осознавали свою человеческую взаимосвязь, действительно ощущали себя единым социумом, обществом. «Никто в России не начинал разговляться, не отнеся передачи безымянным арестантам на общий тюремный котел. Несли рождественские окорока, пироги, кулебяки, куличи. Какая-нибудь бедная старушка – и та несла десяток крашенных яиц, и сердце ее облегчалось. И куда же делась эта русская доброта? Ее заменила *сознательность*! До чего же круто и бесповоротно напугали наш народ и отучили заботиться о тех, кто страдает. Теперь это дико. Теперь в каком-нибудь учреждении предложите устроить предпраздничный сбор для заключенных местной тюрьмы – блюстителями это будет воспринято почти как антисоветское восстание! Вот до чего озверели»¹⁷.

При всей их внешней очевидной противоположности марксизм и нацизм явились прямой реакцией на быстрое развитие демократических процессов в середине XIX – начале XX в. в Западной Европе, в Канаде и США под влиянием стремительной индустриализации производства. Осознав потенциальное могущество этого джинна демократии, столь внезапно вырвавшегося на просторы Европы, двое молодых бородатых немцев-коммунистов объявили против него крестовый поход. С этой целью они и создали химеру Капитала как экономического варианта Сатаны с его бесчисленной челядью в виде хищных промышленных магнатов, всесильных банкиров и несметных полчищ разного рода мелких и средних предпринимателей – кровососов-буржуа, пиявок, насквозь пропитанных омерзительным, аморальным духом наживы и

жаждой чистогана и потому озабоченных исключительно эксплуатацией трудящихся масс, труд, пот и кровь которых они были готовы ежедневно потреблять. Своей задачей основоположники марксизма считали ни много ни мало полное истребление этого паразитического класса эксплуататоров. И создав с этой целью учение о «диктатуре пролетариата», К. Маркс и Ф. Энгельс вольно или невольно провозгласили историческую необходимость создания тоталитарного государства, так как социальный геноцид такого гигантского масштаба мог быть осуществлен только государственным аппаратом, причем не связанным никакими юридическими и моральными ограничениями.

Сражаясь с придуманным ими «капитализмом», основоположники марксизма поэтому противопоставляли ему отнюдь не «социализм с человеческим лицом», который оказался столь же чисто умозрительной химерой, а абсолютно реальный звериный лик тоталитарного государства, пожирающего граждан и все гражданское общество подобно гигантскому левиафану, а то и дракону. (Сам Солженицын, возможно, не без влияния Е. Шварца предпочитал вариант с драконом.) А потому и не было ничего удивительного в том, что все марксистские режимы, появлявшиеся на земле в течение XX в., оказывались в той или иной мере тоталитарными. «Теперь, видя китайскую культурную революцию (тоже на 17-м году после окончательной победы), мы можем с большой вероятностью заподозрить тут историческую закономерность. И даже сам Сталин начинает казаться лишь слепой и поверхностной исторической силой»¹⁸.

Таким образом, попав в тюрьму убежденным коммунистом, Солженицын за годы, проведенные в лагерях, совершил великий подвиг нравственного восхождения. Он отверг большевистский цинизм и аморализм, выдаваемый за «новую, пролетарскую мораль», и вернулся к этическим ценностям, выработанным человечеством за всю многовековую историю своего существования. «Большевизм – враг всего человечества»¹⁹, – заявил писатель, отважно объявляя ему войну в своем романе «Архипелаг ГУЛАГ».

Рассматривая это произведение в данном ракурсе, можно вполне обоснованно утверждать, что перед нами – подлинный идеологический роман, роман-памфлет, воплотивший историю

необычайно трудного, выстраданного самим автором очищения от абсолютно лживой скверны большевизма.

Точно установлено, что во время Второй мировой войны нацисты в своих концлагерях ставили на заключенных медицинские опыты. Бесчеловечно? Да, но, несомненно, не лишено определенной целесообразности! Разве можно сопоставить судьбу нескольких сотен тысяч человек, все равно обреченных на гибель, с той пользой, которую способны принести эти опыты всем последующим поколениям людей?! Такова логика тоталитарного мышления. И, честно говоря, совсем не верится, что в советских концлагерях таких опытов не ставили. Что могло им помешать? Равно что бесхозяйственность: отсутствие нужных кадров и оборудования. В любом случае советская медицина практически всегда содействовала палачам, а не истязуемым, позволяя арестантам умирать во время пыток, а затем оформляя фальшивые диагнозы в свидетельствах о смерти.

Наделавшая много шума и имеющая по сих пор серьезные последствия для ее соучастников гибель Сергея Магнитского, как и смерть многих других безымянных задержанных и заключенных в полицейских застенках современной России, насчитывает долгую – как минимум вековую – предысторию. А если точнее, то и традицию. И если мы полагаем, что события, описываемые в «Архипелаге ГУЛАГа», нас в принципе не касаются, что это очень старая история, то мы сильно ошибаемся. Как раз нам выпало расхлебывать все ту же кровавую кашу на ее финальной стадии. И пока неизвестно, сколько еще потребуется усилий и жертв.

Тоталитарный режим абсолютно бесчеловечен: «Прошел слух в 1918–20 годах, будто Петроградская ЧК и Одесская своих осужденных не всех расстреливали, а некоторыми кормили (живьем) зверей городских зверинцев. Я не знаю, правда это или навет, и если были случаи, то сколько. Но я не стал бы изыскивать доказательств: по обычаю голубых кантов я предложил бы им самим доказать нам, что это невозможно. А где же в условиях голода тех лет доставать пищу для зверинца? Отрывать у рабочего класса? Этим врагам все равно умирать – отчего же им смертью своей не поддержать зверохозяйство Республики и так способствовать нашему шагу в будущее? Разве это не целесообразно?

Вот та черта, которую не переступить шекспировскому злодею, но злодей с идеологией переступает ее – и глаза его остаются ясны.

Физика знает *пороговые* величины или явления. Это такие, которых вовсе нет, пока не перейден некий природе известный, природою зашифрованный порог. Сколько не свети желтым светом на литий – он не отдает электронов, а вспыхнул слабенький голубенький – и вырваны (переступлен порог фотоэффекта)! Охлаждай кислород за сто градусов, сжимай любым давлением – держится газ, не сдается! А переступлено сто восемнадцать – и потек, жидкость.

И видимо, злодейство есть тоже величина пороговая. Да, колеблется, мечется человек всю жизнь между злом и добром, оскользается, срывается, карабкается, раскаивается, снова затемняется, но пока не переступлен порог злодейства – в его возможности возврат, и сам он – в объеме нашей надежды. Когда же густотою злых поступков или какой-то степенью их или абсолютностью власти он вдруг переходит через порог – он ушел из человечества. И может быть – без возврата»²⁰.

С удивительной проницательностью Солженицын уловил и технологию лингвистического программирования массового сознания пропагандистскими органами большевистского государства, которую он определил как «раздувание хлестких», но лишенных реального смысла терминов-кличек. Поток «раскулаченных», пишет он, «ничтожно мало содержал в себе тех “кулаков”, по которым *назван был для отвода глаз* (курсив мой). “Кулаком” называется по-русски прижимистый бесчестный сельский переторговщик, который богатеет не своим трудом, а чужим, через ростовщичество и посредничество в торговле. Таких в каждой местности и до революции-то были единицы, а революция вовсе лишила их почвы для деятельности. Затем, уже после 17-го года, по переносу значения “кулаками” стали называть (в официальной и агитационной литературе, отсюда вошло и в устный обиход) тех, кто вообще использует труд наемных рабочих, хотя бы по временным недостаткам своей семьи. Но не упустим из виду, что после революции за всякий такой труд невозможно было не уплатить густо – на страже батраков стояли комбед и сельсовет, попробовал

бы кто-нибудь обидеть батрака! Справедливый же наем труда допускается в нашей стране и сейчас.

Но раздувание хлесткого термина “кулак” шло неудержимо, и к 1930 г. так звали уже вообще всех крепких крестьян... Такое массовое движение (коллективизация) не могло не осложниться. Надо было освободить деревню также и от тех крестьян, кто просто проявлял неохоту идти в колхоз, несклонность к коллективной жизни, которой они не видели в глаза и о которой подозревали (мы теперь знаем, как основательно), что это будет руководство бездельников, принудиловка и голодаловка. Нужно было освободиться и от тех крестьян (иногда совсем небогатых), кто за свою удаль, физическую силу, решимость, звонкость на сходах, любовь к справедливости были любимы односельчанами, а по своей независимости – опасны для колхозного руководства. (Этот крестьянский тип и судьба его бессмертно представлены Степаном Чаусовым в повести С. Залыгина.) И еще в каждой деревне были такие, кто *лично* стал поперек дороги здешним *активистам*. По ревности, по зависти, по обиде был теперь самый удобный случай с ними рассчитаться. Для всех этих жертв требовалось новое слово – и оно родилось. В нем уже не было ничего “социального”, экономического, но оно звучало великолепно: *подкулачник*. То есть я считаю, что ты – пособник врага. И хватит того! Самого оборванного батрака вполне можно зачислить в подкулачники! (Хорошо помню, что в юности нам это слово казалось вполне логичным, ничего неясного.)

Так охвачены были двумя словами все те, кто составлял суть деревни, ее энергию, ее смекалку и трудолюбие, ее сопротивление и совесть. Их вывезли – и коллективизация была проведена²¹.

Заметим, что в данном отношении в нашей стране мало что изменилось. Технология НЛП (нейролингвистического программирования), а попросту – компостирования мозгов бесконечным повторением бессмысленных терминов – до сих пор остается главным методом манипулирования общественным сознанием. Ушли в прошлое «кулаки», «подкулачники», «буржуи» и прочие «космополиты», но их заменили «иностранные агенты», «ограниченные контингенты войск», «национал-предатели», «укропы», «госдеповский обком», «русофобия», повсеместный «терроризм» людей, не имеющих никакого оружия и не призывающих оружие

применять, и многие другие столь же бессмысленные, искусственные штампы. Их единственная задача – подобно кривым зеркалам сильно исказить реальную действительность, причем выгодным для начальства образом.

Не избежал Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГе» и извечной философской дилеммы: бытие или сознание. Примитивная привязка человеческого сознания к быту, к материальным условиям, к низшему уровню существования отлично вписывалась в марксистскую концепцию управления массами. Взяв контроль над производством и распределением жизненных ресурсов, как материальных, так и, собственно, культурных, всемогущее тоталитарное государство чисто теоретически вроде бы гарантирует себе контроль и над сознанием масс, еще усиливая его с помощью вездесущих средств массовой информации. На практике, однако, так не получилось ни в одной коммунистической деспотии. Даже в Северной Корее и то появились инакомыслящие, не желающие подчиняться всем идиотским требованиям очередного богдыхана-придурка.

В СССР в хрущёвско-брежневский период, как, видимо, и в сталинский, вне государственного идеологического контроля находилось порядка трети населения. Половина из них была представлена криминальной вольницей, а другая половина – людьми, умеющими мыслить собственной головой и понимающими, насколько речи коммунистических бонз и их многочисленных прихлебателей отличались от их реальных дел, от той политики, которую они проводили. Именно благодаря силе духа этих диссидентов (как досидентов, так и отсидентов) и началось постепенное разложение преступного советского режима. Диссиденты стремились добиться того, чтобы начальство само исполняло свои собственные законы. И это квалифицировалось как мятеж, как возмутительная антисоветчина.

С особенной остротой проблема совести и чести, разумеется, стояла в лагерях Архипелага. «Чехов еще и до наших ИТЛ разглядел и назвал растление на Сахалине. Он пишет верно: пороки арестантов – от их подневольности, порабощения, страха и постоянного голода. Пороки эти: лживость, лукавство, трусость, малодушие, наушничество, воровство. (Опыт показал каторжному, что в борьбе за существование обман – самое надежное средство.)

Но не десятирицею ли все это у нас?... Так впору не возражать, не защищать мнимое какое-то лагерное “возвышение”, а описать сотни, тысячи случаев подлинного растреления. ... Да. Да. Но я этих бесчисленных случаев растреления не стану рассматривать здесь. Они – всем известны, их уже описывали и будут. Довольно с меня признать их. Это – общее направление, это – закономерность. ...А как сохраняются в лагере истые религиозные люди? На протяжении этой книги мы уже замечали их уверенное шествие через Архипелаг – какой-то молчаливый крестный ход с невидимыми свечами. Как от пулемета падают среди них – и следующие заступают, и опять идут. Твердость, не выданная в XX веке! И как нисколько не картинно, без декламации»²².

«Так не вернее ли будет сказать, что никакой лагерь не может растрелить тех, у кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая идеология “человек создан для счастья”, выбиваемая первым ударом нарядчикова дрына?

Растрелеваются в лагере те, кто до лагеря не обогащен был никакой нравственностью, никаким духовным воспитанием. (Случай – вовсе не теоретический, *за советское пятидесятилетие таких-то и выросли миллионы*) (курсив мой).

Растрелеваются в лагере те, кто уже и на воле растрелывался или был к тому подготовлен... Татьяна Фаликс пишет: “Наблюдения за людьми убедили меня, что не мог человек стать подлецом в лагере, если не был им до него”.

Если человек в лагере круто подлеет, так, может быть: он не подлеет, а открывается в нем его внутренне подлое, чему раньше просто не было нужды?

М.А. Войченко считает так: “В лагере бытие не определяло сознание, наоборот, от сознания и неотвратимой веры в человеческую сущность зависело: сделаться тебе животным или остаться человеком”... Да, лагеря были рассчитаны и направлены на растреление. Но это не значит, что *каждого* им удалось смять»²³.

* * *

Всех нюансов устройства советского государства Солженицын тем не менее все-таки не смог разглядеть. По-видимому, сильно мешал марксизм, впитанный им, как говорится, с молоком

матери. Отвергнув большевизм, а затем и ленинизм, он остановился перед флажками, натянутыми Единственно Верным Учением. К марксизму Солженицына, впрочем, подмешивалась еще и идея русского мессианства: «Загадка, которую не нам, современникам, разгадать: для чего Германии дано наказать своих злодеев, а России – не дано?»²⁴

В этом нет и не было никакой загадки. Дело попросту в том, что нацизм был официально осужден, проклят и запрещен как бесчеловечная идеология. Пропаганда нацизма и в наши дни преследуется в качестве уголовного преступления. Марксизм этой процедуре подвергнут не был, несмотря на то что он ни на гран не гуманнее нацизма, а число его жертв – неизмеримо больше. ***И марксизм гораздо лживее и подлее нацизма. Если нацисты сплошь и рядом*** вполне откровенно, хотя и цинично разглагольствовали о своих истинных целях и планах, то марксисты всегда лгали и лукавили. Все их красивые слова о благе трудящихся и о счастье народа использовались ими только в виде морковок, висящих на палке прямо перед носами погоняемых глупых осликов. Так, крестьянам они обещали землю в собственность в тот же самый день, когда ими было принято решение о национализации всей земли в России.

Их интересовала исключительно полная концентрация власти в руках государственного аппарата и, соответственно, – в их собственных руках. Благо народа и карательные органы, мордующие этот народ, – вещи абсолютно не совместимые. «Революционный Военный Трибунал – это необходимый и верный орган Диктатуры Пролетариата, долженствующий через *неслыханное разорение, через океаны крови и слез* (курсив мой) провести рабочий класс...»²⁵ Таким образом, в брошюрах, издававшихся под грифом «секретно», большевики не скрывали, что они готовы разорить всю страну в неслыханных прежде масштабах, проливая при этом «океаны крови и слез». Но вот цели, ради которых они лили потоки крови, формулировались ими по-идиотски лживо и неубедительно. Истребляя миллионы людей, они якобы планировали создать «мир свободного труда и красоты»²⁶. Это – глумливый свист на лужайке. Что это за «красота», ради которой могут быть пролиты «океаны крови и слез»?! Не зря на Руси самых

страшных грабителей и убийц испокон веков называли «соловьями-разбойниками».

Большевикам, как и многим другим теоретикам-марксистам, всегда было глубоко наплевать на собственный народ. Они сами сплошь и рядом называли себя «интернационалистами» и потому готовы были всецело жертвовать национальными интересами как сугубо местными. Именно поэтому советское тоталитарное государство и сумело оберечь практически всех своих злодеев, которые, утратив привилегию убивать открыто, в наглуую, тем не менее до сих пор остаются монополистами на убийства заказные и тайные. Благодаря этому они и считаются основными опорами режима.

В общей сложности после разоблачения «культа личности» осуждено и казнено в СССР было порядка 30 человек, виновных в социальном геноциде. Да и это, скорее, стало результатом внутриведомственной и внутриклановой борьбы разных групп коммунистической номенклатуры, нежели данью общепризнанной законности и справедливости.

«Что же за гибельный будет путь у нас, если нам не дано очиститься от этой скверны, гниющей в нашем теле? Чему же сможет Россия научить мир?»²⁷ Да, действительно, писатель как в воду глядел: мы уже очень долго стагнируем и все никак не можем очиститься от этой скверны, гниющей в теле нашего общества. Но вот переживать по поводу того, что Россия не сможет чему-то *научить мир*, едва ли стоит. России еще многому самой придется учиться у наиболее развитых стран мира.

«В немецких судебных процессах то там, то сям бывает дивное явление: подсудимый берется за голову, отказывается от защиты и ни о чем не просит больше суд. Он говорит, что черед его преступлений, вызванных и проведенных перед ним вновь, наполняет его отвращением и он не хочет больше жить.

Вот высшее достижение суда: когда порок настолько осужден, что от него отшатывается и преступник.

Страна, которая восемьдесят шесть тысяч раз с помоста судьи осудила порок (и бесповоротно осудила его в литературе и среди молодежи) – год за годом, ступенька за ступенькой очищается от него.

А что делать нам?.. Когда-нибудь наши потомки назовут несколько наших поколений – поколениями слютяев: сперва мы

покорно позволяли избивать нас миллионами, потом мы заботливо холили убийц в их благополучной старости. (...)

В Двадцатом веке нельзя же десятилетиями не различать, что такое подсудное зверство и что такое “старое”, которое “не надо ворошить”! Мы должны осудить публично самую *идею* расправы одних людей над другими! Молча о пороке, вгоняя его в туловище, чтобы только не выпер наружу, – мы *сеем* его, и он еще тысячекратно взойдет в будущем. Не наказывая, даже не порицая злодеев, мы не просто оберегаем их ничтожную старость – мы тем самым из-под новых поколений вырываем всякие основы справедливости. Оттого-то они “равнодушные” и растут, а не из-за “слабости воспитательной работы”. Молодые усваивают, что подлость никогда на земле не наказуется, но всегда приносит благополучие»²⁸.

Что тут скажешь: все верно. Спорить не с чем. Но совершенно непререкаемый вывод все-таки ошеломляет: «И неуютно же, и страшно будет в такой стране жить!»²⁹ Солженицын в начале 1970-х годов сумел яснее всех предвидеть то, что будет происходить в России в конце XX в. и в первые десятилетия XXI в. В связи с этим мы с полным основанием имеем право назвать «Архипелаг ГУЛАГ» романом-предостережением.

Несмотря на то что темы и события «Архипелага ГУЛАГа» полны подлинного трагизма, роман не свободен от иронии: «Да пощадит меня снисходительный читатель! До сих пор бестрепетно выводило мое перо, не сжималось сердце, и мы скользили беззаботно потому что все 15 лет находились под верной защитой то законной революционности, то революционной законности. Но дальше нам будет больно: как читатель помнит, как десятки раз нам объяснено, начиная с Хрущёва, “примерно с 1934 года началось нарушение ленинских норм законности”».

И как же нам теперь вступить в эту пучину беззакония?»³⁰

Впрочем, ирония эта довольно злая. Ее трудно отличить от мефистофельского сарказма. Гораздо мягче иронизирует Солженицын в другом эпизоде: дело Промпартии 1930 г. Это был один из хорошо отрепетированных ГПУ глумливо-показательных процессов. Когда в западной прессе появились предположения, что показания подсудимых против себя были получены с помощью пыток, обвиняемые поспешили опровергнуть эту «клевету»

с помощью совершенно смехотворных «аргументов»: «подсудимый Федотов – Заключение в тюрьму *принесло пользу* не одному мне!.. Я даже лучше чувствую себя в тюрьме, чем на воле.

Очкин – И я, и я лучше!»³¹

И уж совсем по-раблезиански смешон эпизод, взятый Солженицыным из воспоминаний Р.В. Иванова-Разумника. «Иванов-Разумник пишет, что в 1938 он сидел с Крыленкой в одной камере, в Бутырках, и место Крыленко было под нарами. Я очень живо это себе представляю (сам лазил): там такие низкие нары, что только по-пластунски можно подползти по грязному асфальтовому полу, но новичок сразу никак не приноворится и ползет на карачках. Голову-то он подсунет, а выпяченный зад так и остается снаружи. Я думаю, верховному прокурору было особенно трудно приновориться, и его еще не исхудавший зад подолгу торчал во славу советской юстиции. Грешный человек, со злорадством представляю этот застрявший зад, и во все долгое описание этих процессов он меня как-то успокаивает»³².

Описание показательных публичных процессов в «Архипелаге ГУЛАГе», происходивших в СССР в 1920–1930-х годах, действительно можно назвать «долгим» – свыше 100 страниц. И это описание в произведении играет очень важную роль: автор не просто описывает эти процессы, он их анализирует, он их расследует с тщательностью Шерлока Холмса как самые подлинные, самые аутентичные свидетельства правового нигилизма, характерного для тоталитарного мышления и каким-то чудом сохранившегося и дошедшего до наших дней. «Вот попал к нам от доброхотов неуничтоженный экземпляр книги обвинительных речей неистового революционера, первого рабоче-крестьянского наркомвоена, Главковерха, потом – зачинателя Отдела Исключительных Судов Наркомюста (готовился ему персональный пост Трибуна, но Ленин этот термин отменил) (В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 36, с. 210), славного обвинителя величайших процессов, а потом разоблаченного лютого врага народа Н.В. Крыленко – нам надо суметь прочесть эту книгу. Другого не дано. А недостающее все, а провинциальное все надо восполнить мысленно»³³.

Когда мы сегодня удивляемся попыткам и бесчеловечному отношению в российских СИЗО и тюрьмах или недоумеваем, почему судьи не всегда стремятся на заседаниях выяснять истину, прини-

мая доказательства обвинения и отвергая аргументы, представляемые защитой, когда десятки видеокамер, зарегистрировавших момент преступления, вдруг оказываются одновременно неисправными и это никак не учитывается в суде, когда мы узнаем, что существует практика, согласно которой следователи могут потребовать подписки о неразглашении не только с адвокатов, осуществляющих защиту, но и с самих обвиняемых, мы должны понять, что власть до сих пор использует ржавую дубину судебного устрашения эпохи диктатуры пролетариата, созданную еще на самой заре советской власти.

Для того чтобы превратить суд в орудие террора, в инструмент, всемерно укрепляющий власть, юристы, обслуживавшие тоталитарное государство, должны были не просто отказаться от целого ряда юридических норм и аксиом, не говоря уже о процедурах. Им предстояло внедрить в головы масс целый ряд парадоксальных, а подчас и иррациональных истин. Во-первых, они отвергли понятие «вины», «персональной виновности» как буржуазный предрассудок. С точки зрения революционной законности гораздо важнее виновности или невиновности подсудимого была та степень социального вреда или социальной опасности, которую он объективно мог представлять для общества нового типа. «Потому не нужны юридические тонкости, что не приходится выяснять – виновен подсудимый или невиновен: понятие *виновности*, это старое буржуазное понятие, вытравлено теперь... Люди не есть люди, а определенные носители определенных идей. Каковы бы ни были индивидуальные качества (подсудимого), к нему может быть применен только один метод оценки: это – оценка с точки зрения классовой целесообразности. Следует понимать: не то ложится тяжестью на подсудимого, что он уже сделал, а то, что он *сможет* сделать, если его теперь не расстреляют. Мы охраняем себя не только от прошлого, но и от будущего»³⁴. (Юстиниан с его циничным: «Незнание закона не освобождает от наказания», – просто отдыхает.)

Если подсудимые невиновны, «то почему именно их арестовали?» – задал на одном из процессов неотразимый вопрос обвинитель Крыленко (чей зад, как мы помним, затем подолгу торчал из-под нар). «Вот сила мысли! – комментирует Солженицын, – и за тысячи лет не догадывались обвинители: сам факт ареста уже

доказывает виновность! Если подсудимые невиновны – так зачем бы их тогда арестовали? А уж если арестовали – значит, виноваты!»³⁵

И вот ведь странно: откуда у современного российского правосудия такая неистребимая тяга к обвинительному уклону по отношению ко всем арестованным и посаженным на скамью подсудимых гражданам?!

На этом, пожалуй, мы и завершим рассмотрение следственной части романа «Архипелаг ГУЛАГ». В рамках статьи не рассмотреть даже всех юридических тем, освещаемых А. Солженицыным. Но вот одна сцена из глав, описывающих публичные судебные процессы, буквально завораживает: настолько точно она передает не только картину, но и самую атмосферу того времени – вкус, цвет и запах эпохи: «В зале заседаний государственного совета на уровне второго этажа идут окна, забранные листами жести с мелкими дырочками, а за окнами – неосвещенная галерея. Из зала никогда нельзя догадаться: есть ли кто там или нет. Хан незрим, и совет всегда заседает как бы в его присутствии. При отъявленном восточном характере Сталина я очень верю, что он наблюдал за комедиями в Октябрьском зале. Я допустить не могу, чтобы отказал себе в этом зрелище, в этом наслаждении.

Ягода – отъявленный уголовник. Этот убийца-миллионер не мог вместить, чтобы высший над ним Убийца не нашел бы в своем сердце солидарности в последний час. Как если бы Сталин сидел тут, в зале, Ягода уверенно настойчиво попросил пощады прямо у него: “Я обращаюсь к Вам! Я построил для Вас два великих канала!..” И рассказывает бытчик там, что в эту минуту за окошком второго этажа, как бы за кисеею, в сумерках зажглась спичка и, пока прикуривали, увиделась тень трубки»³⁶.

* * *

Итак, попробуем обобщить наши наблюдения. Текст «Архипелага ГУЛАГа», безусловно, обладает такими качествами, как документальность и публицистичность. Но он ни в коем случае этими качествами не ограничивается. Напротив, они воспринимаются как составные, органические части гораздо более многозначной и, следовательно, более сложной образной структуры, способ-

ной не только оказывать глубокое эмоциональное воздействие на читателя, но и воссоздавать чрезвычайно сложную и противоречивую картину реальной жизни в объеме, практически недостижимом для пера документалиста или публициста.

Только художник силой своей интуиции, своего дара и всего своего жизненного опыта способен постигать то, что при отсутствии необходимой и достаточной информации недоступно разуму, не может быть изучено аналитически. Именно благодаря способности писателя «домысливать», «додумывать» роман «Архипелаг ГУЛАГ», используя информационную достоверность документа и мощную энергию публицистического пафоса, создал чрезвычайно убедительную и подлинно художественную панораму гнусностей, творимых «пролетарской диктатурой» в самые активные годы безумных массовых кровопусканий. Причем все это изуверство выдавалось за невиданный социальный эксперимент, за строительство «общества нового типа».

«Архипелаг ГУЛАГ» своей честностью и убедительностью потряс читательскую аудиторию не только России, но и всех цивилизованных стран. Благодаря этому роман практически сразу стал одной из тех очень редких книг, которым действительно удалось изменить облик мира. Достаточно указать хотя бы тот факт, что путч коммунистов в Португалии, протестовавших в 1975 г. против публикации «Архипелага ГУЛАГа» на португальском языке, был подавлен массовым движением общественности, требовавшей его издания.

В жанровом отношении, как, надеюсь, нам удалось показать, «Архипелаг ГУЛАГ», с одной стороны, – очень свободный монтаж не только различных жанровых, но и разных видовых литературных компонентов. И по принципу этого монтажа он весьма похож на сборник или на антологию. Но, с другой стороны, – это лишь внешнее впечатление. На самом деле все разнородные элементы как бы спрессованы, а то и сплавлены в сложнокомпозиционный монолит, излучающий кинетику единого замысла, крайне строго и последовательно реализуемого на всех уровнях произведения.

А. Солженицын по натуре писатель эпический. Он тяготеет к роману, к поэтике больших полотен. У него и рассказы, даже «крохотки», обладают сказовой эпичностью. Они похожи на эскизы разных размеров, на эпизоды, как бы случайно выхваченные из

течения самой жизни и специально сжатые ввиду отсутствия необходимого времени и места, но способные разрастаться почти бесконечно. Однако при этом к канонам и законам главного эпического жанра Нового времени – классического романа писатель относится без должного пиетета. Он свободно начинает автобиографию кусками историографического трактата и даже статистическими отчетами; его исповедь способна сосуществовать с натуралистическими зарисовками арестантского быта, с яростными инвективами, а то и с сатирическим памфлетом; глубочайшие философские и социологические размышления, как и крайне неординарные психологические наблюдения, вполне выдерживают соседство с незамысловатыми байками и пустопорожним трепом лагерных «мужиков». И это, безусловно, – проявление художественной стратегии Солженицына.

Он разламывает рамки традиционного романа. У него фактически нет ни одного романа о любви как о прочном, сколь-либо долговечном чувстве, связывающем судьбы людей. И дело не только в том, что как арестант он сам боялся этих чувств, которые лично никак не мог бы защитить и которые, как путы, лишь мешали бы ему бороться за свою жизнь и личность. Конечно, этот страх играл определенную роль в формировании художественного мира Солженицына, но эту роль не следует преувеличивать. Гораздо важнее оказалось то, что мировоззрение писателя, познавшего ужасы советских лагерей, утратило многие из тех констант, которые традиционно формировали художественную логику классического романа. Его романы – это произведения, созданные именно в эпоху великих перемен и непосредственно для читателей этой эпохи.

В частности, он уже не мог считать, что человек – обычный человек – хоть в какой-то мере реально способен управлять своей судьбой: «Наша судьба угодить в смертную камеру не тем решается, что мы сделали что-то или чего-то не сделали, – она решается кручением большого колеса, ходом внешних могучих обстоятельств. Например, обложен блокадою Ленинград. Его высший руководитель товарищ Жданов что должен думать, если в делах Ленинградского ГБ в такие суровые месяцы не будет смертных казней? Что Органы бездействуют, не так ли? Должны же быть вскрыты крупные подпольные заговоры, руководимые немцами

извне? Почему же при Сталине в 1919 такие заговоры были вскрыты, а при Жданове в 1942 их нет? Заказано – сделано: открываются несколько разветвленных заговоров! Вы спите в своей нетопленной ленинградской комнате, а когтистая черная рука уже снижает-ся над вами. И от вас тут ничего не зависит»³⁷.

Вынул подозреваемый белый носовой платок у окна вы-сморгаться – подал кому-то сигнал. Разговаривал с моряками – отмечено наружным наблюдением или донесено осведомителями. Был знаком с кем-то, внесенным в список «заговорщиков», – считай, до ареста остались считанные дни, и т.д. и т.п. Человек, осознающий мир как рулетку, как верчение колеса Фортуны (кстати, источник происхождения этого «большого колеса» в тексте Солженицына чрезвычайно важен, тогда как интертекстуального анализа его произведений до сих пор практически не существует), воспринимает жизнь как беспорядочное броуновское движение, происходящее под влиянием мощного силового поля зла. Кстати, почти все герои Солженицына в его романах похожи на броуновские частицы. Они беспорядочно движутся, иногда сталкиваясь друг с другом, на какое-то краткое время кружась друг подле друга, а то и сцепляясь, но затем их вновь разносит в разные стороны. Постоянный контакт обеспечивается только более или менее длительным пребыванием в одной камере, в одной бригаде, в одном бараке, в одной больничной палате. Все остальные человеческие контакты – эфемерны.

Эта модель мира воспроизведена не только в «Архипелаге ГУЛАГе». Она же доминирует и в «Раковом корпусе», и в «Круге первом», и в «Красном колесе». Однако именно в «Архипелаге» она подается с такой высокой степенью концентрации, что оказалась способной, как это ни странно для столь пессимистического мировосприятия, нанести смертельный удар всей коммунистической системе, построенной на лжи, на коварстве и варварстве.

От этого удара коммунизму, слава Богу, уже никогда не оправиться. Он должен быть окончательно осужден, проклят и заклеен как в корне преступная, лженаучная теория. Его пропаганда должна преследоваться по закону. Однако его бессовестные адвокаты, не говоря уже о вырождах, проповедующих «преlestи сталинизма» в нашей стране, до сих пор пытаются очернить творчество великого писателя. С этой целью они пользуются двумя

своими основными инструментами – клеветой и ненавистью. Приведем только один пример того, как беспардонно и тупо они лгут, пытаясь очернить Солженицына. Тем более что этот случай типичный. Он дает ключ почти ко всем нападкам этого рода. Такова статья маршала СССР Василия Ивановича Чуйкова, в наши дни присутствующая в Интернете под заголовком «Разгромная критика “армейской” части “Архипелага ГУЛАГа”».

Автор – несомненно, заслуженный человек, сыгравший значительную роль в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом. Понятно, что он был преданным сталинистом до конца своих дней. Но это не дает ему ни малейшего права клеветать без зазрения совести: «Когда я прочитал в “Правде”, что в наши дни нашелся человек, который победу под Сталинградом приписывает штрафным батальонам, не поверил своим глазам... Звание лауреата Нобелевской премии ко многому обязывает. На мой взгляд, оно не совместимо с невежеством и ложью»³⁸.

Но лжет сам маршал СССР: Солженицын победы штрафникам не «приписывал». Он лишь указал, что они тоже участвовали в этом сражении и тоже проливали кровь, «цементируя» ею «фундамент Сталинградской победы». Против чего тут можно возразить?

Что же касается «невежества», в котором маршал обвинил одного из самых образованных русских писателей второй половины XX в., то это, конечно, – верх нелепости. Суди, портянка, не выше голенища своих же прахорей.

Что же так возмутило Чуйкова в «Архипелаге ГУЛАГе»? Полагаем, следующее высказывание: «Прокачен был еще один важный поток офицеров и солдат, не желавших стоять насмерть и отступавших без разрешения; тех самых, кому, по словам бессмертного сталинского приказа № 227, Родина не может простить своего позора. Этот поток не достиг, однако, ГУЛАГа: ускоренно обработанный трибуналами дивизий, он весь гнался в штрафные роты и бесследно рассосался в красном песке передовой. Это был цемент фундамента Сталинградской победы. Но в общероссийскую историю он не попал»³⁹.

Ну во всероссийскую историю этот поток все-таки попал благодаря тому же «Архипелагу» и песне Высоцкого «В прорыв идут штрафные батальоны». Но Чуйков почему-то упорно не

желал признавать факта их существования. Он заявил: «Сколько надо иметь ядовитой желчи в сердце и на устах, чтобы приписать победу штрафным ротам, которых *до и во время Сталинградского сражения не было и в природе...* Я снова повторяю: *в период Сталинградской эпопеи в Советской Армии не было штрафных рот или других штрафных подразделений. Среди бойцов-сталинградцев не было ни одного бойца штрафника*»⁴⁰ (курсив мой).

Следует поверить знаменитому полководцу? К сожалению, совершенно невозможно. Возьмем текст упоминаемого приказа № 227. Читаем резолюцию приказа: «ПРИКАЗЫВАЮ: Сформировать в пределах фронта от 1 до 3 штрафных батальонов по 800 человек. Сформировать в пределах армий от 5 до 10 штрафных рот до 200 человек в каждой, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной. Нарком обороны СССР И. Сталин».

Этот приказ был подписан и разослан 28 июля 1942 г. Битва за Сталинград началась 13 сентября 1942 г. и закончилась 31 января 1943 г. Чуйков пытается убедить нас, что командующие фронтами и армий в течение полугода не удосужились исполнить приказ Наркома обороны?! Не смешите народ: маршал лжет, как сивый мерин. Что совсем не красит маршальского мундира, а заодно и непристойно пятнает его имя. Но, видно, очень уж убедительно просили Чуйкова высказаться «уважаемые люди», вернее, подлая номенклатура в больших чинах, всегда готовая на любой подлог.

Документы и факты свидетельствуют о том, что персональная травля Солженицына была организована на самых верхних этажах советской иерархии. В конце 1960-х – начале 1970-х годов в КГБ было создано специальное подразделение, занимавшееся исключительно оперативной разработкой Солженицына: 9-й отдел 5-го управления. Можно не сомневаться, что эти мастера разводки и клеветы перерыли все, что можно и нельзя, в поисках компромата на него. **И ничего не нашли**, кроме всякой чепухи. Типа разночтений в отчестве: Исаакович – Исаевич.

Сколько домыслов и сколько дури было наплетено по этому поводу литературоведами в штатском, обвинявшими Александра Солженицына в патологической склонности ко лжи. А всему виной – ошибка, допущенная паспортисткой в первом паспорте будущего писателя. Ошибка, которую он был вынужден воспроиз-

водить по этому паспорту во всех документах при поступлении в Ростовский университет. Затем, вероятно, Солженицын посчитал опisku перстом судьбы и в таком виде – гораздо более удобо-произносимом – принял ее как своего рода писательский псевдоним. Никто ведь не обвинял во лжи Алексея Максимовича Пешкова, который всем известен стал как Максим Горький.

Яйца выеденного не стоят и все остальные гэбэшные обвинения, высказываемые в адрес Александра Исаевича: он никогда не старался «оклеветать советскую власть». Эта сверхчувствительная дамочка сама всегда была настолько обгажена с головы до ног кровью и дерьмом, что клеветать на нее не имело никакого смысла. Достаточно было просто говорить правду.

Солженицын не был «предателем родины»: по суду высланный с родины и лишенный советского гражданства в 1974 г., он почти 20 лет прожил апатридом, не попросив никакого иностранного гражданства, в отличие от великого множества нынешних записных «патриотов».

Не был Солженицын и лагерным «стукачом», хотя дал себя формально завербовать «куму», взяв псевдоним «Ветров», чтобы тот отвязался от него. Об этом он сам рассказал в «Архипелаге ГУЛАГе», продемонстрировав приобретенную в заключении способность дурить начальство, которое он, разумеется, и за людей особо не считал. Но ни одного доноса Солженицын не написал, и это, по всей видимости, стало причиной конфликта с администрацией и высылки его из марфинской «шарашки».

Солженицын никогда не предлагал США бросить атомную бомбу на СССР. Гэбэшники опять примитивно лгут, высасывая из пальца очередное обвинение в адрес великого писателя и подтасовывая реальную фактуру. Атомной бомбой в «Архипелаге» своим мучителям-охранникам грозили ээки, надеясь, что и на них найдется управа и что за свои зверства они могут ответить еще на этом свете. И вертухай в ответ помалкивали, понимая реальность существующей угрозы.

Не был Солженицын и «власовцем». Тем более – «литературным власовцем». Это – очередной тупой пропагандистский неологизм, вообще лишенный реального смысла. И это при том, что писатель не принимал официального гнусно-карикатурного образа генерала Власова и его солдат как «омерзительных предателей,

озабоченных только спасением своих шкур». Для Солженицына они были подлинно трагическими жертвами совершенно безвыходных обстоятельств. Жертвами, которые заслуживают гораздо большего человеческого понимания и сочувствия, чем все палачи и изуверы из ВЧК – ОГПУ – НКВД – КГБ – ФСБ вместе взятые.

-
- ¹ *Солженицын А.И.* «Архипелаг ГУЛАГ». Полное издание в одном томе. Под ред. Н.Д. Солженицыной. М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. 1279 с.: ил. С. 4. Все последующие цитаты из этого произведения приведены по данному изданию.
- ² «Архипелаг ГУЛАГ». С. 7.
- ³ Там же. С. 7.
- ⁴ Там же. С. 7.
- ⁵ Там же. С. 7.
- ⁶ Там же. С. 27.
- ⁷ Там же. С. 27.
- ⁸ Там же. С. 110–111.
- ⁹ Там же. С. 114.
- ¹⁰ Там же. С. 8.
- ¹¹ Там же. С. 117–118.
- ¹² Там же. С. 95.
- ¹³ Там же. С. 49.
- ¹⁴ Там же. С. 145–146.
- ¹⁵ Там же. С. 140.
- ¹⁶ Там же. С. 43–44.
- ¹⁷ Там же. С. 148.
- ¹⁸ Там же. С. 57.
- ¹⁹ Там же. С. 170.
- ²⁰ Там же. С. 118.
- ²¹ Там же. С. 49–50.
- ²² Там же. С. 764–765.
- ²³ Там же. С. 766–767.
- ²⁴ Там же. С. 119.
- ²⁵ *Данишевский К.Х.* Революционные военные трибуналы. М.: Издание Реввоен-трибунала Республики, 1920. (Под грифом «Секретно»). С. 59.
- ²⁶ Там же. С. 59.
- ²⁷ «Архипелаг ГУЛАГ». С. 119.
- ²⁸ Там же. С. 119–120.
- ²⁹ Там же. С. 120.
- ³⁰ Там же. С. 266.
- ³¹ Там же. С. 258.

³² Там же. С. 258.

³³ Там же. С. 202–203.

³⁴ Там же. С. 204.

³⁵ Там же. С. 258.

³⁶ Там же. С. 268.

³⁷ Там же. С. 285–286.

³⁸ www.pravda.info/society/145679.html

³⁹ «Архипелаг ГУЛАГ». С. 64.

⁴⁰ www.pravda.info/society/145679.html